

Александр Иванович Куприн

Ночь в лесу



Александр Иванович Куприн
Ночь в лесу

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172694

Ночь в лесу



Середина апреля. По ночам еще стоят холода; болотцы и лужи в лесах затягиваются к утру тонким, хрупким льдом, но дни солнечны и теплы. Клейкие почки на березах насытились весенними соками, и в воздухе чувствуется их радостный смолистый аромат.

Теперь – последние дни глухариной охоты. Как только распустятся первые нежные березовые листочки, то начнут свое страстное токование краснобровые тетерева, глухари и замолкнут и забьются до осени в непроходимые чащи.

Мне уже надоело ночевать каждый день в старой смолокурне, глубоко врытой в землю. Там удушливо пахнет смоляной гарью; бревенчатые стены на вершок поросли висячей черной липкой сажей; каждый раз вылезая из смолокурни весь черный, как черт, чернее трубочиста; очень трудно потом отмыть руки и лицо.

Кроме того, постоянное сообщество лесника Николая становится мне все более тяжелым и неприятным. Он без нужды болтлив, криклив, подобострастен, противно жаден до денег и суетлив. Но охотник он превосходный: знает все повадки, привычки и ложбища как птицы, так и зверя; неутомим на охоте, обладает почти собачьим чутьем и опознается

в лесу, как в собственной избе.

Объездчик Алексеев однажды проговорился мне, что лесник Николай, в сущности, не охотник-любитель, а жадный дичепромышленник и шкурятник, что он-де бьет дичь для продажи, направляя ее пудами, при помощи кумовьев, свояков и дружков, через Тулу в Рязань и Москву. Кроме того, ставит на птиц и на зверей запрещенные капканы и разбрасывает отравы.

Все эти слухи о Николаевой изворотливости мало меня интересовали и беспокоили. Под самодержавным распоряжением моего зятя, у которого я тогда гостил, находились четыреста пятьдесят тысяч десятин Куршинского казенного лесничества, да еще ему поручено было наблюдение над Касимовскими соседними лесами братьев Хлудовых, где числилось более ста тысяч десятин; пространство, как видите, равное пяти-шести германским княжествам или любому лимитрофу. Этот лесничий (не только по образованию, но и по призванию) любит лес серьезной, деятельной любовью. Для борьбы с лесными истребительными пожарами он построил в каждом из кордонов высокие наблюдательные каланчи и никогда не устает экзаменовать лесников в знании противопожарных инструкций. Он ревностно преследует лесные самовольные порубки и никогда их не прощает. Еще строже он следит за тем, чтобы в его лесничестве никто не смел разводить костров, особенно летом.

Он никогда не берет взяток. Когда наступает время про-

давать на сруб старые лесные делянки, то первые очереди он предоставляет соседям-крестьянам, а лесопромышленникам идут остатки или дорогие строевые деревья за высокие цены. Крестьяне это знают и ценят: оттого-то в его лесах почти никогда не шалят и его заповедных питомников никто не трогает.

Ему, конечно, известно, что почти все его лесники охотятся без его позволения. Но он смотрит на это сквозь пальцы.

– У меня, – говорит он, – такая уйма дичи, что на всех хватит без малейшей убыли.

Я тоже держусь взглядов моего патрона. Но поведение Николая на охоте меня порою возмущает до гнева. Вот уже почти три года, как мы с ним охотимся, и сколько раз я ловил его на плутовстве, к которому, однако, никак нельзя придраться. То он заведет меня в лысое пустое место, куда от сотворения мира не залетал ни один глухарь, ни тетерев. А то, бывало, услышу я издали знакомые мне волнующие звуки глухариной песни и бегу под нее быстрыми короткими прыжками, стараясь делать это совершенно беззвучно. Вот, вот... уже близок глухарь. Я различаю теперь и второе колено его токования, похожее на мощное, глухое шипение; уже поднимаю голову кверху, стараясь разглядеть среди веток густой сосны фигуру самого глухаря... И вдруг... треск валежника под ногами... Шлепанье кожаных бахил... Глухарь мгновенно замолкает. Из темного кустарника выдирается голова Николая. Громко хлопая огромными крыльями,

глухарь улетает прочь, и теперь его больше не увидишь. О, черт!

Николай спрашивает шепотом:

– Никак спугнули?

Конечно, глухарь был спугнут, но не мной, а лесником, но по какой-то глупой деликатности я молчу и только гляжу на него с яростной злобой. «Ведь этак ты не в первый раз делаешь, подлец».

И правда: одного глухаря он еще мне иногда давал ухлопать, но стоило мне начать разыскивать глазами второго, как Николай уже мчался ко мне с криками:

– Сан Ваныч! Ау, ау, Сан Ваныч!

А подойдя, говорил: – А я-то вас кричу, кричу. Испугался даже. Тут место-то с закальцем. Стоит попасть ногой, так наверх никак не выкарабкаешься. Засосет.

Под конец я его просто возненавидел за его вертлявую заботливость и только сегодня решился сказать с надлежащей вескостью:

– Нечего нам с тобой, Николай, дурака валять друг перед другом... Нынче в ночь я пойду один, а ты сейчас же отправляйся домой, к себе на кордон. И сию же минуту!

Он жалобно забубнил:

– Да я, помилуйте, Сан Ваныч. Да как же я вас оставлю одного? Здесь же болота разные, быстрые речушки, вы по ним и не пройдете, особенно ночью. И господин лесницын меня в прах обратит, если, не дай Бог, с вами что-нибудь

случится. Я же ведь только о вас самих забочусь... Я...

Но тут я ужасно заорал на него. Мне был стеснителен и труден лишь первый шаг, потом все пошло легче. Очень поспешно Николай оделся и вылез из смолокурни. Я долго слушал его удаляющиеся шаги, пока не убедился, что он действительно идет по направлению к Куршинской дороге. Наконец шаги стихли.

Остался только шум в обоих ушах да странное неуютное чувство внезапного одиночества. Я поглядел на часы: было около восьми. Мне вдруг стало жалко, что я прогнал Николая: прежде в этот час мы ложились спать в смолокурне, а к полуночи шли на ток. Ведь могло случиться, что я был неправ, приписывая леснику коварные замыслы. Но я преодолел свою чувствительность, вскинул ружье за плечо и, не торопясь, пошел в глубь леса узенькой, недавно вновь проторенной тропинкой.

Солнце заходило. Его закат был яркий и ясный, но спокойный, и ветер спадал: почти верный признак того, что завтра утром погода будет сухая и безветренная. Самая благоприятная для глухариних токов. А кроме того, какие-то птички, казавшиеся совсем малюсенькими, шныряли с необыкновенной быстротой в высоте смуглевшего неба: тоже одна из примет тихого утра.

Было уже трудно видать лесную дорожку, но я доверился инстинктивной памяти ног, которая так остра и послушна в тишине и в полутьме.

Так дошел я до узенькой, всего в сажень шириною, но необычайно быстрой речонки, называвшейся Пра. Ее звонкий лепет доносился до меня еще издалека. Через нее с незапамятных времен была мужиками перекинута «лава», первобытный неуклюжий мост из больших древесных сучьев, перевязанных березовыми лыками. Странно – никогда мне не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Так и нынче: как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше колена бахилы. Пришлось на другом берегу сесть, разуться и вытрясти воду из тяжелой обуви. На ходу ноги опять согрелись, приятно и ладно обтянутые высыхающей упругой кожей.

Дальше путь пошел легкий. Я уже по опыту знал, что мне теперь, кренделя между мощными стволами и густым цепким кустарником, надо неуклонно держаться востока. Тут мне помогали и лиловое с золотом догорание запада, и мой полуигрушечный компас, мгновенно озаряемый светом папиросы.

Я на ходу перетягиваю поудобнее за плечами мой походный ранец и вдруг невольно улыбаюсь: в глубоком вечеряющем лесном безмолвии набежала смешная мысль. Я вспомнил прелестную поэму нового норвежского писателя Кнута Гамсуна под заглавием «Пан». Ах! Какими страстными словами, какими волшебными образами живописал ее герой, очаровательный лейтенант Глан, лес и его великое безмол-

вие...

Но какой же это был лес, если через него кратчайшим путем ходят ежедневно девушки из деревни в городок с кувшинами молока? И какое же в нем великое одиночество, если он весь засорен окурками, замасленными бумагами, апельсинными корками и стеклом разбитых бутылок – всеми этими грязными следами, говорящими о постоянной и тесной близости человека?

«Вот хорошо было бы, – думаю я, – перенести этого норвежского любителя природы сюда, в сплошную полосу кондовых, частью еще не обмеренных лесов, раскинувшихся на многие сотни тысяч квадратных верст, на пространство, равное среднему европейскому государству, заселенное медведями, волками, лосями, лисами, барсуками, зайцами, рысями, белками, горностаями, куницами и тысячами мелких неведомых зверушек; и весь этот четвероногий мир находится в вассальном подданстве у местного лешего, которого не однажды видели куршинские мужики, прозываемые соседями „куршей головастой“ или „литвой некрещеной“, а бабы – те видят его очень часто, когда летом ходят по ягоды».

Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попадешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую верею. Вереей в этом крае называется большой холм, который высоко и широко торчит над болотом. Почти всегда на нем свободно растут две или три мощ-

ные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, с четырехохватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелюю корою, протянулся и точно дрожит Бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.

Но прелестный лучик на глазах слабеет, затихает, меркнет... Вот уже и нет его совсем. Надо и мне улечься спать.

Я ложусь на ровном и мягком месте под холмом; так всегда удобнее лежать на открытом воздухе. Но уснуть мне долго не удастся. Шумно бьется кровь в ушах, и ложе мое все кажется неудобным. Но мне давно уже знаком этот искус: чем больше ты будешь менять позы, переворачиваться с боку на бок и возиться с ямками, бугорками и сучками – тем вернее будет бежать от тебя дрема.

Я пробую лежать неподвижно, стараясь не замечать под собою ухабов и возвышений. «Это мне только кажется, – успокаиваю я себя. – Это мое избалованное воображение. Стоит потерпеть немного, и все пройдет».

Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на невидимом буксире маленькую отважную звездочку – лодку. Порой они оба: и бригантина и малая шлюпочка – раз за разом ныряют в белые, распущенные, кос-

матые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.

Не знаю, сколько проходит времени в этом восторженном наблюдении за небесными корсарами. Время меня больше не интересует, как, пожалуй, и все на свете. Я даже не сознаю того приятного ощущения, что меня уже больше нигде не жмет, не теснит, не давит. Кровь перестала гудеть в ушах, но зато удивительно уточнилось и стало чудесно внимательным чувство слуха.

Далеко, верстах в двадцати – тридцати, в лесном озерце низко и сипло мычит выпь, классная наставница: «Спите, дети, спа-оть, спа-оть». Небольшая птица, чуть побольше коростеля, а голос у нее, как у соборного протодиакона или у породистого недовольного быка, начальника стоголового стада. Но она вскоре умолкает. Маленькие птички прощаются дружка с дружкой в густом кустарнике: «чики», «спокойной ночи». Спите чутко: «чи-чи-чи». Дергач в болоте протяжно скрипит в последний раз. Блеет барашком бекас, летящий на ночлег. Всемирная тишина! Только малюсенький, недавно вылупившийся из яйца птенчик соловьенчик слабо пискнул два раза: это он бредит сквозь сон. Что за ночь! Вспоминается мне вдруг давнишняя, точно воскресшая детская песенка:

В добрый час, в добрый час,
Спите: Бог не спит за вас...

Я даже чувствую в голосе ее простой, наивный, точно молитвенный напев.

Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.

Влажная благодатная земля представляется мне всемирной, могучей матерью, щедро предлагающей свои бесчисленные сосцы всему живущему, растущему, дышащему и славящему Создателя. Углубившись в темные недра, ее тонкие, как ниточки, нежные отпрыски корней неустанно сосут, жадно впивают чудотворные соки. Слепые и бесчувственные, обладающие лишь божественным инстинктом, они никогда не ошибаются. Вот этот сок нужен липе, тот – ландышу, тот – сосне, а тот – папоротнику или дикой малине.

О, ночные часы! как в них много возобновляющейся силы, творческой работы, неведомой жизни и вечной тайны. Ночью мальчики летают по воздуху, падают с кровати и растут. Ночью ходят по вершинам лунатики, влекомые лунным притяжением. Ночью тревожатся и стонут девушки-подростки, а беременные женщины ощущают первые потуги.

...Я сейчас думал. Но во сне это было или в ночной яви? Взглядываю на небо. Там большие перемены. Полумесяц снизился, стал вдвое больше. Он точно разбух и покраснел. Маленькая лодочка отцепилась от него и пропала навсегда... Да, это верно. Я заснул на несколько минут и совсем этого не

заметил. Ночь стала еще тише, еще глубже и гуще. Едва-едва слышный звук раздается около меня, у моих ног. Точно кто-то сказал шепотом: «Пак». Нет, вернее: такой кроткий звук бывает порой, когда дитя в задумчивости разомкнет уста. Я догадываюсь о его причине и слабо с умилением улыбаюсь. Это какая-то почка вся набрякла соками, раздалась вширь, и от нее с тихим шумом отклеился первый лепесток. Какое счастье! Я живу теперь в самом центре, в самом святилище простых домашних интимных чудес природы, как в любимом знакомом доме.

Отчего нет больше сказок в наш суровый практический век? Какое, например, превосходное и какое бессчетное у меня королевство! Здесь живут дикие пчелы, осы и шмели, еще не решающиеся вылететь из зимних, глубоких дупел, забитых от холодов соломой и мхом. Здесь повсюду, в каждой щели и трещинке, в извилинке коры спят мертвым, но временным сном личинки и коконы разноцветных бабочек, изящных стрекоз, всевозможных жуков, свирепых комаров, пауков-строителей и всяких трудолюбивых червячков: пильщиков, резчиков, сверльщиков, стругальщиков – и все они нужны для каких-то Господних работ. Большими буграми высятся огромные жилища муравьев, битком набитые сильным, работающим, свирепым и умным народом...

Ну-ка, я попробую сделать подсчет: сколько у меня, в моем королевстве, приходится в среднем подданных на каждую кубическую сажень?

Я считаю. Голова моя тяжела и качается. Веки чешутся. Ах, как ночью в лесу, перед зарею, фантастически мешаются фантазии с правдой и сон с действительностью.

Может быть, я снова задремал, но вдруг сразу нахожу себя проснувшимся и немного испугавшимся. Мне показалось, что кто-то сначала слегка дохнул на мою щеку, а потом ткнулся в нее чем-то холодным и мягким. Я вздрагиваю, хватаюсь за щеку. На ней еще осталась чуть прохладная влажность. Одновременно с этим я, не слыша, чувствую чей-то мелкий и торопливый скок. Ах, Боже мой! Да ведь это какой-то лесной зверюшка пришел и обнюхал меня. «Что, мол, здесь, в моем лесу, за большая живая говядина валяется?» Я подымаю голову кверху. Теперь уже видно небо. Оно ровного скучно-стального цвета. Я себя чувствую так же разморенным и усталым, как после долгой езды в вагоне третьего класса. Кто-то ворошится высоко надо мною, в гуще сосны... Присматриваюсь настойчиво и напряженно. Да, это – глухарь, хотя от меня он и кажется величиною не более лесного голубя. Когда он успел сесть, что я его раньше не услышал. «Не бойся, милый глухаришка, – говорю я про себя, – я тебя сегодня не обижу, не буду стрелять. Ведь мы с тобою нынче вместе спали под одной и той же сосной...»

Вдалеке медленно загнусавила жолна, и одновременно я услышал ритмический хруст хвороста. Неужели опять этот проклятый злодей Николай?